



кала художественных ценностей исторически очень подвижна. Любая эпоха, какой она была для себя, не совпадает с тем, какой ее видим мы, какова она для нас. Естественное несовпадение. Степень его совсем необязательно возрастает по мере удаления во времени. Мы нередко возвращаемся назад в поисках единомышленников. Забытые эпохи и явления способны возрождаться.

О растущем интересе к XVIII веку свидетельствуют сегодня не только усилия специалистов, существует и более широкий литературный резонанс. Исторический роман развил вкус к этой эпохе. В критике теперь не редкость — эссе о Г. Р. Державине, о жанре оды или о чем-то еще недавно интересном лишь для историка литературы.

Можно, разумеется, счесть, что этот интерес не является чем-то специфичным сегодня, когда слова «прошлое», «память», «история» звучат завораживающе, когда желание лучше понять и узнать ведет исследователя и писателя во все минувшие времена. Это верно. И все-таки по отношению к XVIII столетию, к его художественному мышлению у нас особый долг — непонятости, неоцененности: пожалуй, мы найдем не много эпох, которые в собственной художественной оценке так бы резко расходились с тем, как мы их видим.

Утверждение, которое может показаться странным. А как

же роман — разве мы невысоко ставим это основное художественное открытие эпохи (принадлежащее западноевропейской традиции, в России литературная ситуация складывалась иначе)? Однако это не только не опровергает сказанного выше, а как раз и служит лучшим для него аргументом. Для нас роман — художественная вершина эпохи, но в XVIII веке это мнение не показалось бы бесспорным. А в первой его половине — лишь абсурдным.

Мы приближаем эпоху к себе, смотрим на нее в свете будущего, торопим его появление. И в этом тем более расходимся с существовавшей самооценкой, что она была отмечена эстетическим консерватизмом: приговор новому во многом зависел от того, насколько оно, новое, вписывалось в традицию, соответствовало классическим образцам.

«Роман был не только новым, что плохо само по себе, но он был признан появившимся на свет вследствие определенного литературного смещения. У него существовали некоторые претензии на родство с такими формами, как эпическая поэма и рыцарский роман, но он опускался слишком низко, чтобы черпать из журналистики, биографий, плутовских повествований и народных верований, помимо всего прочего. Его разнообразие было залогом его новизны и популярности»¹.

Однако ни новизна, ни популярность, как показывает знаток литературного быта и вкусов эпохи английский литературовед Пэт Роджерс, не могли в принципе способствовать приобретению высокого места в существовавшей эстетической иерархии. Скорее напротив — свидетельствовали против жанра.

Неуважение к нему современников, особенно в начале эпохи Просвещения, не может изменить нашего отношения. Однако мы не должны забывать этого расхождения во вкусах, чтобы исторически верно реконструировать ситуацию, внутри которой полагали, что путь к немеркнувшей славе прокладывает только поэзия, осененная авторитетом Горация и Вергилия. Для нас она заслонена романом, как, впрочем, и многое из того, что не было ему враждебно в момент появления, готовило и поддерживало роман, из чего он черпал свои сюжеты, язык, характеры.

¹ P. Rogers. Grub Street. Studies in a subculture. L., 1972, p. 324.

В 1719 году вышла из печати первая часть «Робинзона Крузо», за которой — остальные романы Д. Дефо. В 1726 году — «Путешествия Гулливера». Свифт и Дефо — две личности, во многом противоположные, но их имена традиционно рядом. Имена создателей просветительского романа. И еще одна маленькая деталь биографической общности: оба опубликовали свои первые романы в 59 лет. А до этого — десятки произведений, проза в различных документальных жанрах, участие в «памфлетной войне»... Оба сложились как писатели в годы царствования королевы Анны.

«Век Анны»

Сравнительно недолгим было пребывание на престоле этого последнего монарха из рода Стюартов. Чуть более двенадцати лет: 1702—1714. Однако и до сих пор приходится слышать — «*век Анны*», как будто под этим именем скрывается целая эпоха, как будто им наполнено ее историческое бытие.

Королева между тем была личностью ничем не примечательной, даже заурядной. Современники свидетельствуют, что Анна была не глупа, но ленива и нерешительна. И к тому же упряма: она долго колебалась, ввергая своих министров в отчаяние, однако, на что-то решившись, уже не отступала. Единственной ее страстью была еда. Страстью запретной и опасной ввиду тучности королевы и ее подагры; страстью, которой она не умела сопротивляться. Лишний бифштекс причинял ей муки и на несколько дней отлучал от государственных дел.

И все-таки — «*век Анны*». Даже — «*золотой век*»!

Может быть, — так ведь случается с актерами, и театральными и историческими, — посредственного исполнителя главной роли спасительно «отыгрывали» блестящие партнеры? Не обязаны ли мы легенде о «золотом веке» «Пасторалям» и «Виндзорскому лесу» молодого и уже великого Александра Поупа? Блеском царствования — личности министров королевы: учнейшего Оксфорда — казалось, он способен говорить одними цитатами из римских поэтов; великолепного Болингброка, вершителя европейских интриг, — кто его не помнит хотя бы по пьесе Э. Скриба «*Стакан воды*»?

Министры заключили долгожданный Утрехтский мир

(завершивший войну за Испанское наследство), поэт воспел его, а королеве оставался еще целый год жизни — в лучах мира и славы.

После ее смерти все меняется мгновенно и удивительным образом: министры обвинены в государственной измене, вместо увлекающих интриг королевского двора — куда более прозаичные биржевые махинации, и едва минуло шесть лет, как разразилась в ранее невиданном государственном масштабе финансовая катастрофа — лопнула дутая компания Южных морей. Такое впечатление, что доигран спектакль в красивых исторических костюмах...

Но если не поддасться обаянию бутафории, театральных жестов, то разве из «века Анны» не доносятся до нас речи деловые, прозаические? Они все крепнут, опровергают выдвигаемые против них доводы и не оставляют сомнения в том, что принадлежат будущим победителям.

Побежденные вздохнут о днях доброй королевы Анны, о «золотом веке». Правда, эта метафора впервые была пущена иронически известным поэтом-пасторалистом и членом парламента от партии вигов Уильямом Уолшем. Он приветствовал новую королеву стихотворным обещанием «золотого века», который обязательно наступит, если министры ее величества научатся договариваться между собой, а Харли (он еще не стал первым министром и не удостоен титула графа Оксфорда) — держать свое слово... В общем, если поубавится *политической лжи*, искусством которой овладели лидеры обеих партий.

Наступившее царствование не оправдало пасторальных надежд в политике, а что в литературе?

Чаще о первых полутора десятилетиях XVIII века в литературе говорят скептически. Автор книги о становлении художественного мышления Дж. У. Джонсон полагает, что все самое важное (роман в первую очередь!) начинается именно с завершением царствования Анны, при ней — лишь несколько разнородных, еще не делающих погоды и не составляющих единой традиции явлений: журналы Аддисона и Стила, пастораль...¹

Иное мнение у известного специалиста по английской журналистике У. Грэма, повторяющего метафору «золотой

¹ J. W. Johnson. The formation of English neoclassical thought. Princeton (N. J.), 1967 p. 5.

век», «после которого литература никогда уже не будет в такой мере поощряться и получать покровительство власть имущих»¹. Это, конечно, преувеличение, да и критерий «покровительства» не самый верный для свидетельства о состоянии литературы. Однако понятны причины этого преувеличения и энтузиазма: никогда прежде слово так наглядно и непосредственно не вмешивалось в политическую жизнь, не воспринималось как важная сила.

Выборы в парламент, проходящие в соперничестве вигов и тори, побуждают бороться за общественное мнение — за избирателя. К нему обращались способом, испытанным уже в годы Революции, — через памфлет, возникавший по любому значительному случаю, но и это уже казалось недостаточным. Ощутили потребность в том, чтобы влияние было непрекращающимся, каждодневным: первая ежедневная газета увидела свет несколько дней спустя после восхождения Анны.

Это, конечно, совпадение, но знаменательное. И оказавшееся в кругу целого ряда других совпадений, отметивших изменение литературной ситуации на переломе двух столетий. Вот некоторые из них.

В 1700 году умирает Джон Драйден, «великий поэт малого века» — эпохи Реставрации. Он был первым во всех жанрах, поэтических и драматических, он создал критику. Его литературный авторитет был непререкаем в течение нескольких десятилетий.

В марте того же года постановкой комедии «Так поступают в свете» Уильям Конгрив не только прощается с театром, но фактически завершает весь путь «комедии Реставрации». В своем веселии не ведавшая приличий, она как будто не решается переступить порог нового века, где ей на смену почти тотчас же приходит «слезливая комедия» Р. Стила, издаелека предвещающая еще не вошедшую в моду чувствительность.

Драйден был бы весьма удивлен, если бы узнал, что едва ли не основной литературной фигурой последовавших за его смертью десятилетий потомки сочтут Джонатана Свифта, которому он еще по первым публикациям предсказал: «Кузен Свифт, вы никогда не станете поэтом». Свифт всю жизнь писал стихи, но Поэтом в том высоком смысле, какой вкла-

¹ W. G r a h a m. English literary periodicals. N. Y., 1930, p. 19.

дывался в это слово, он не стал. В этом Драйден оказался прав, но тем более он был бы изумлен, доведись ему увидеть, что и Свифт, в которого он не поверил, и Аддисон, которого успел почтить сотрудничеством в издании Вергилия, что оба они снискают известность в свое время и славу у потомков не в качестве поэтов, а в жанрах странных, сомнительных, погруженных в сиюминутные заботы.

Падение вкуса, забвение достоинства Поэзии? Наступившая эпоха не давала повода для таких мыслей. Если что-либо и могло обеспокоить Драйдена, проживи он еще десяток лет, то не слава Поэзии, а его собственная слава, которая начала меркнуть в лучах нового имени. Едва ли старый поэт обратил внимание в кофейне Уилла, где собирался кружок его почитателей, на двенадцатилетнего мальчика. А мальчик запомнил, как он видел великого Драйдена, чьей славе он наследовал и у чьего имени похитил лестный эпитет, чтобы прибавить к собственному — Александр Поуп.

Какое странное время, когда и старый и новый путь могут привести к славе! И люди, идущие этими путями, могут оставаться друзьями, как Свифт и Поуп! Просветительский роман еще не появился, но в литературе работают его будущие создатели. Резкость и нестесненность в выражении, присущая памфлету, соседствуют с изысканностью пасторали, написанной несравненным по мелодичности стихом Поупа.

Как это могло произойти? Видимо, *веротерпимость* — лозунг новой эпохи — примирила по крайней мере литературные вкусы?

О веротерпимости говорили много, что не удивительно после нескольких десятилетий гражданской войны, распри и вражды под религиозными лозунгами. За веротерпимость ратовали, за нее боролись, она становилась яблоком раздора и поводом к самым непримиримым разногласиям.

В 1700 году отдельным изданием Дефо печатает поэму «Миротворец». В согласии с ее названием и следуя своему всегдашнему призыву к веротерпимости, идет ли речь о политике, религии или, как в этот раз, о литературе, Дефо убеждает английских писателей радоваться перемирию (в войне с Францией) и не нарушать его своими дразнгами, своим тщеславием.

Ни этот его совет, ни многие другие услышаны не были. Дефо решает прибегнуть к более сильно действующему

средству: если вы не можете внять голосу разума, то, может быть, вы ужаснетесь, услышав звучащий в полную силу, не прикрытый хитроумными уловками голос безрассудства? Он пишет памфлет «Простейший способ разделаться с диссентерами» (1702) — простодушный и страшный в своем простодушии совет, как искоренить в Англии тех, кто в своей вере уклоняется от официального англиканства.

Последствия были неожиданными: совет, якобы данный от лица гонителей диссентеров, приняли за чистую монету, а когда мистификация разъяснилась, ярости обманутых не было предела. Возмущение достигло трона и в конце концов привело Дефо в тюрьму и к позорному столбу.

Это было одно из первых произведений на той странице истории английской литературы, где развернулись события «памфлетной войны». «Англия в памфлете!»¹ На какой-то момент английская литература оказалась во власти этого жанра, ибо в нем выразила себя история.

Начало — в Англии

Европейский XVIII век, который мы называем Эпохой Просвещения и Веком Разума, начинался в Англии. Оттуда по всей Европе распространился дух новой философии, подкрепленный примерами реальных перемен в общественном устройстве.

Границы эпохи, даже если мы связываем ее с тем или иным столетием, редко укладываются в его хронологические рамки. Мы ищем не круглых чисел с двумя нулями на конце, а знаменательные события, от которых, пусть даже с определенной долей условности, имеем право начать отсчет нового исторического времени.

Веку Разума были положены границами два революцион-

¹ Книга с таким названием, точнее, с таким подзаголовком, уже выходила: «Диктатура пустяков (Англия в памфлете)». Ее автор — Михаил Левидов. Дата выпуска — 1923 г. Она написана о современной ей английской беллетристике, увиденной глазами памфлетиста. Значит, слова в подзаголовке стоят в другом значении, чем в названии нашего сборника. И все-таки переключка названий не случайна, она напоминает о том, что М. Левидов — автор прекрасного, неоднократно издававшегося биографического повествования о Свифте. Может быть, и к нему эти слова пришли как воспоминание о той эпохе.

ных события. Век вступает в силу после того, как доигран последний, уже далеко не героический акт революции английской, и завершается с началом Великой французской революции: 1688—1789. Преимущество такой датировки в ее «европейском масштабе», которым, по словам К. Маркса, отмечены эти две революции.

Разделенные целым столетием, бывшим одновременно и целой эпохой, они не могут не быть различными, несмотря на единый для них исторический характер — буржуазный. Революция во Франции ощущалась как необходимость и была предсказана в теории просветительской мысли. Она должна была стать воплощением вековой мечты о разумном устройстве общества и государства, достойном разумного человека.

Английская революция совершалась неподготовленной. Потому-то каждый ее шаг представлялся неожиданным, и казалось, особенно на первых порах, что побед боялись не меньше, чем поражений: неясными были последствия, пугающей — ответственность каждого нового решения. Парламент, поднявший страну против Карла I, собиравшийся не столько с силами, сколько с духом, чтобы победить. Отсюда колебания в ходе событий, которые не стали исторически необратимыми, зависели подчас от обстоятельств достаточно случайных, и в результате, даже спустя десять лет после казни короля, после одержанной победы, оказывается возможным добровольный отказ от ее плодов. В начале 1660 года, призванный парламентом, возвращается из эмиграции Карл II, сын казненного короля; начинается Реставрация Стюартов.

И все повторяется еще раз, убеждая в исторической неизбежности происходящего теперь в измененных условиях и с другим составом участников. В 1688 году, боясь повторения участи отца, Яков II (брат уже умершего Карла) бежит во Францию после того, как парламент единодушным решением лидеров обеих партий направляет приглашение Вильгельму Оранскому, правителю Нидерландов, занять английский трон. Так совершилась «славная революция», или «классовый компромисс» окрепшей буржуазии с земельной аристократией, буржуазии, уже готовой выдвинуть свою партию или, во всяком случае, такую партию, которая была бы способна отстаивать ее интересы в предстоящем переделе власти.

Кто в нем участвовал? Король и парламент. Время даже для мечтаний о неограниченной власти монарха в Англии прошло. Первым же своим законом — Биллем о правах (1689) Вильгельм III обещает не обходиться без парламента и не отступать от его законных установлений. Эти еще достаточно общие слова закрепляются в последующие годы рядом парламентских постановлений, итог которым подведен «Актом о престолонаследии» (1701) или, согласно полному его названию, «Актом о дальнейшем ограничении власти монарха и наилучшей охране прав и свобод подданного».

Эти годы называют годами становления английской конституции¹, которая и на сегодняшний день имеет вид не единого свода законов, а суммы парламентских актов, принятых на протяжении трех веков. Так английское государственное устройство обретало вид конституционной, или парламентской, монархии, определяемой фразой: *«Король царствует, но не правит»*.

Центр политической власти именно в эти годы перемещается из дворца в парламент, который далеко не был единодушным. В самом парламенте и за его пределами противоречие экономических, религиозных, политических интересов обернулось борьбой двух партий: виги и тори (подробнее о них см. 490—491). В обеих партиях много высшей и чиновной аристократии, вначале сходившейся в политические группы по религиозным и семейным традициям. Важным было то, на кого опиралась верхушка. Первоначально несменяемой и организующей характеристикой партий была религиозная ориентация. К веротерпимым вигам подключались набирающие силу финансисты Сити, купцы богатых компаний, склонные к более радикальным формам протестантской веры, чем официальное англиканство, и оказывавшиеся диссентерами. В противовес этому складывалась партийная позиция тори, основную силу которых составили сельские джентльмены, живущие на доходы с поместий, — джентри, в основном ревностные приверженцы Церкви Англии (как называли англиканскую церковь).

Партийная вражда, расколовшая страну, воспринималась многими как великое зло, ибо она лишала Англию единства. Давая согласие занять трон, Вильгельм III думал, что ему

¹ Britain after the Glorious Revolution (Ed. by G. Holmes). L., 1969, p. 39.

обеспечена такая же единодушная поддержка в стране, каким было приглашение, а значит, с прежними разногласиями и партиями покончено. Он был неприятно удивлен, когда понял, что ошибся. В первом же своем парламенте в январе 1689 года он столкнулся и с тори, и с вигами. Причем ни тех, ни других нельзя было по старинке считать «партией двора».

Король не чувствовал за собой поддержки ни страны, ни парламента, который, даже возведя его на трон, только спустя семь лет, и то под большим нажимом, принял формулировку о его законности — ведь законным оставался бежавший во Францию Яков II! Вильгельму — постоянный удар по его гордости — давали почувствовать сомнительность его прав, а заодно и то, что он здесь чужой по вере и национальности, ибо он не *чистокровный англичанин*.

Самым трудно переносимым для короля следствием такого к нему отношения в Англии были ограничения, сковывающие размах его военных действий: ему отказывали в субсидиях, урезали численность армии, требовали всей полноты отчета. А делом жизни для Вильгельма было — сокрушить Францию, этот оплот католической силы в Европе. Может быть, только ради этого он, герой и защитник протестантского мира, и взошел на столь для него неудобный английский трон.

В 1697 году, после заключения Рисвикского мира, в войне и вовсе наступил перерыв. Было ясно, что это лишь временная пауза, перемирие, ибо главные вопросы не решены и войны не избежать.

Поскольку Вильгельм никак не мог считаться у англичан *королем-патриотом*, воплощением духа нации, то ему нужно было найти какие-то иные веские причины, связывающие его интересы с интересами страны. Под этим словом традиционно подразумевали тех, у кого в руках — земля, а теперь начали добавлять и тех, у кого — деньги.

Особенно насущной такого рода связь стала в 1694 году после смерти соправительницы Вильгельма, его супруги Марии Стюарт, чья фамильная принадлежность для многих испугала чужеродность короля. И вот королевы не стало. Обстоятельство, которое могло иметь самые непредвиденные последствия, не будь Вильгельм столь предусмотрителен и не обеспечить себя государственным долгом, предоставленным ему именно с этой целью созданным *Английским банком*. Теперь смена правления для многих, особенно в партии

выгов, чьим детищем был банк, обернулась бы денежными потерями вместо выгодных процентов.

Первоначальный национальный английский долг выражался суммой достаточно скромной — 1 млн. 200 тыс. фунтов, но уже спустя два десятилетия он возрос в пятьдесят раз. Эти небывалые по тем временам суммы были потрачены в ходе войны за Испанское наследство.

К ней и готовился Вильгельм. О том, что войны не миновать, знали давно, в течение всех тех лет и десятилетий, пока в Испании медленно умирал Карл II, прозванный Страдальцем. Наследников у него не было, и трон испанских Габсбургов становился предметом многих вожделений, тем более что династический повод для претензий имели сразу несколько европейских принцев (см. династическую таблицу в прим., с. 464).

К войне готовились, заключали сепаратные договоры, которые тут же опрокидывались какой-нибудь очередной смертью малолетнего или престарелого члена того или иного царствующего дома, что нарушало и без того неустойчивый баланс. В результате давно ожидаемая смерть Габсбурга в ноябре 1700 года застала Европу врасплох. Для Англии ситуация предельно осложнялась еще и тем, что в течение года один за другим умирают последний оставшийся в живых сын принцессы Анны Стюарт герцог Глостер — 12 июня 1701 г.; король в изгнании Яков II — 16 сентября 1701 г.; и, наконец, сам король Вильгельм — 8 марта 1702 г.

После смерти наследного герцога Глостера спешно закрепляются конституционные завоевания принятым парламентом в июне 1701 г. Актом о престолонаследии, предусматривающим переход трона после смерти Вильгельма III к Анне, а в дальнейшем — в том случае, если она не оставит наследников, — к правителю Ганновера Георгу, сыну Софьи — внучки Якова I (см. табл., с. 464). Поскольку не нашлось наследника среди чистокровных англичан, то смену династии предпочитают смене вероисповедания, обеспечивая Англии короля-протестанта.

Меры были приняты как нельзя более своевременно. Людовик XIV после смерти Якова открыто признает законным наследником английского трона его сына — Джеймса ¹,

¹ По-английски имена отца и сына звучат совершенно одинаково, но в русской традиции, установившейся с тех времен, когда

который впоследствии до своей смерти в 1766 г. не оставит надежд, постоянством своих претензий заслужив имя Старого Претендента. Он не раз будет угрожать вторжением в Англию и впервые — несмотря на свой юный, тринадцатилетний, возраст — именно сейчас, когда вопрос о престолонаследии стал так остро.

Те несколько месяцев жизни, которые оставались Вильгельму, он мог вкушать наконец всю полноту поддержки в подготовке к войне, в которой прежде ему было отказано. В парламенте побеждают виги, символизирующие патриотизм и умело играющие на том, что подозревают своих противников тори в излишней привязанности к Стюартам, в том числе и к удаленным из страны.

И все-таки неожиданная смерть короля Вильгельма (после падения с лошади на охоте и простуды) вызвала у многих вздох облегчения: Англия вступала в войну, предводительствуемая не голландским принцем, а законной английской королевой, исповедующей англиканскую веру. Более чем столетие — вплоть до королевы Виктории — трон в Англии не будет так популярен, как в этот момент.

Отсюда и «век Анны» и «золотой век»!

Англичане

В своей тронной речи перед парламентом Анна несколько раз повторила, что она *англичанка*. Это было ее преимуществом перед предшественником, и она его не забывала оттенять, вызывая бурю восторга у подданных. Высочайше одобренный национальный энтузиазм не оставлял надежды на то, что умиротворяющий голос Дефо в «Чистокровном англичанине» (где он напоминал о сложных истоках английской нации, недоумевая — чем здесь гордиться?) будет услышан. И во времена короля Вильгельма, в поддержку которому был написан памфлет, мнение Дефо шло вразрез с общим умонастроением, теперь же оно тонуло в патриотических кликах, предвещавших войну. Дефо, впрочем, не сдавался и именно этим памфлетом открыл в 1703 году двухтомное собрание своих произведений (вышедшее, когда автор, отстояв у

дипломатическая документация велась на латыни, имя короля произносится как Яков (Иаков). Аналогично этому Чарлз, вступив на трон, становится Карлом.

позорного столба, пребывавал в Ньюгетской тюрьме за «Диссентеров»).

В первые десятилетия XVIII века — период, завершающий формирование основных европейских наций, Англия обзаводится национальными гимнами: официальным («Боже, храни короля...») и неофициальным («Правь, Британия, морями...»); придает окончательный облик своему государственному флагу и даже обретает эмблему-символ *Джона Булла* (от англ. «бык»). Одухотворяемая чувством патриотизма, все время подогреваемого, Англия, приняв образ Джона Булла, яростно вырвалась на поля европейской войны. Войны, которую впоследствии историки не раз назовут торговой и колониальной, а по ее масштабу — мировой, на что имеют право: интересы воюющих сторон вовлечены на трех континентах.

Война, казалось объединившая нацию в едином патриотическом порыве против традиционного врага — Франции, скоро станет поводом для разъединения и серьезнейших внутренних разногласий. За войну ратовали виги, и они ведут ее, богатея на процентах с национального долга. А тори — сельские сквайры, быстро трезвеют под грузом новых налогов. К тому же Анна не любит вигов: по семейной традиции Стюартов, ей ближе тори, которые не у власти в момент ее прихода, но они скоро обретут ее.

Далеко не сразу тори решаются возвысить голос против войны. Вначале они отыгрывают также в высшей степени патриотический козырь — чистоту веры. Что ей угрожает? Вигская веротерпимость. Появление Анны на престоле стало знаком для не утихавшего на всем протяжении ее царствования торийского возгласа: «*Церковь в опасности!*» Одной из первых жертв и стал Дефо, попытавшийся плыть против течения.

Война за Испанское наследство окончательно прояснила противоположность позиций вигов и тори как расхождение денежного и земельного интереса. Кто из двух партий мог теперь претендовать на то, чтобы считаться «партией страны» (первоначально ею считались виги, а тори — «партией двора»)?

В изменившихся условиях, когда общественное мнение — реальная сила, претендуют и те и другие. Ни одна из партий не могла пренебречь тем, чтобы не присвоить себе такой важный голос, как голос всего народа. В действитель-

ности он не учитывался при подсчете голосования. Эта метафора может читаться буквально, ибо из шести миллионов населения страны избирательным правом обладали приблизительно двести пятьдесят тысяч, из которых подавляющее большинство голосов распределялось по «гнилым» и «карманным» местечкам, где подкуп или просто слово лендлорда решали исход.

Процент избирателей невелик, но нельзя забывать и того, что сами выборы были новшеством, принципиально изменившим систему политической власти. Еще совсем недавно, а в остальных странах и вплоть до того самого времени, все решалось одним голосом — голосом монарха. Король был символом единства нации, уже несколько устаревшим в Англии. Потребовалась новая символика: и официальная — для чувства национальной гордости, и допускающая снижение — так ли уж во всем безупречен чистокровный англичанин?

Образ Джона Булла возник под пером сатирика — личного врача королевы Анны и личного друга Свифта Джона Арбетнота. Тори в этот момент (1712) уже открыто ратовали за мир, преодолевая возмущение вигов и сопротивление союзников. Самый веский аргумент против войны — хватит нам усердствовать ради чужих интересов. Вот почему Джон Булл изображен честным, но простодушным и увлекающимся — качества, не всегда позволяющие ему верно оценить собственную выгоду. Английской нации досталась доля иронии, смягченная снисхождением и добродушием. Со сходным чувством и Джозеф Аддисон свидетельствует в «Зрителе» убеждение своего героя Роджера де Каверли, что один англичанин всегда стоит двух французов.

Время для более трезвых и менее снисходительных оценок еще не пришло. Чтобы увидеть объективно, нужно было взглянуть со стороны, как сумеет Свифт, но позже — из Ирландии. Пока что все захвачены борьбой, вовлечены в «памфлетную войну», отстаивая верность партийным пристрастиям и лозунгу данного момента. Противоположность политических убеждений расколола литературу: Аддисон и Стил — с вигами, Свифт и Дефо (оба в прошлом — виги) — основные публицисты правительства тори.

Назвав эти имена, трудно поверить, что все создаваемое прославленными писателями было политической однодневкой. Конечно, нет. У литературы своя роль, которую тогда

понимали по Горацию: доставлять удовольствие и поучать. Мнение античного авторитета подкреплено новейшим — Джоном Локком, самым влиятельным философом эпохи. Убеждение в том, что человек разумен, не было открытием Локка, но одно дело верить в разум, другое — показать его в работе, в процессе познания. Локк это и сделал в «Опыте о человеческом разумении» (публ. 1690), убедив современников в том, что способность к пониманию в человеке — от природы, но овладение ею — от воспитания, которое только и делает человека истинно разумным.

Литература поучает и воспитывает. С этой целью Аддисон затевает самый знаменитый из всех тогдашних журналов — «Зритель» (1711—1714). Ее же имеет в виду Дефо, верящий, что может образовать из биржевого жулика и безграмотного лавочника *совершенного торговца*. И даже Свифт, проповеди предпочитающий обличение, обращается к первому министру Оксфорду с планом Академии для усовершенствования английского языка. В разных ролях выступают авторы: один беседует, другой наставляет, третий проповедует, — отсюда и многообразие тона в памфлетах и эссе, но у каждого перед глазами — его будущий читатель.

Или даже точнее во множественном числе — читатели. Они разные, их возможную реакцию пытаются угадать, направить встречным аргументом, их самих представить и понять. Литература, стремясь к обобщениям, создает символический образ нации, но ей же предстоит показать, из чего складывается это осознаваемое единство. Эмблема начинает расслаиваться, разворачивается в портретную галерею. В ней есть лица конкретные, исторические, заставляющие вспомнить, что предшествующий XVII век оставил ряд памятников мемуарной прозы и утвердил жанр «характера». Переведенный на страницы свифтовского памфлета, этот жанр шаржирует оригинал, карикатурно узнаваемый. Таковы портреты Томаса Уортона и герцога Мальборо.

Портреты подлинных лиц (в случае с Уортоном имя вынесено в название — изображение подписано!), но в то же время и обобщения: современный политик, современный военачальник... В эссе Аддисона и Стила, где возможность сатиры «на лица» отменена с самого начала, узнаваемы не люди, а типы, хотя и представленные с подробностью мелких и дорогих для читателя черт. Об этом первая же фраза, с которой представляется *Зритель* в первом номере: «Я подме-

чал, что читатель не очень охотно читает книгу, пока не узнает, каков автор — темен лицом или светел, низок или великодушен, кроток или гневлив, женат или холост и прочее в том же духе, ибо иначе толком и не разберешь, к чему этот автор клонит».

Подробная разработка характера — черта нового стиля и мышления, оставшаяся чуждой, например, русским переводчикам XVIII века. Им в английских журналах оказались ближе эссе, представленные в форме «восточных повестей, видений и аллегорий. Вообще в России XVIII века проявлялся преимущественный интерес к нравоучительному аспекту английской журналистики, а не к сатирическому»¹. Вот почему многие эссе, отобранные для настоящего издания, ранее на русский язык не переводились.

В английской литературе характерность, даже резко и подробно представленная, не была совершенной новостью. Достаточно вспомнить комедии Бена Джонсона, его «теорию гуморов», согласно которой в каждом человеке есть черта преобладающая и отличительная. Собирателем таких отличительных черточек выступает и Зритель, от лица которого пишутся эссе и который признается: «Лично я охочусь за чудаками...» (№ 108).

Чуждачества и странности он собирает, но не только — он ищет им объяснения: вот уже славный Уимбл, вызвавший приведенное выше признание, оказывается не просто чудачком, но распространенным типом чудача, разделяющим «участь многих младших братьев знатного рода...». Он обречен на бесполезность, которую только подчеркивает его услужливость по мелочам, ибо старшие скорее стерпят, чтобы он голодал, «чем разрешат ему заняться торговлей или иной недостойной деятельностью». Уимбл у Аддисона — один из эскизов к портрету сельского сквайра.

У этого портрета много граней. Иногда при создании его Аддисон с трудом сохраняет маску добродушия, а в журнале

¹ Ю. Д. Левин. Английская просветительская журналистика в русской литературе XVIII века. — В кн.: Эпоха Просвещения: Из истории международных связей русской литературы (под ред. М. П. Алексеева). — Л., 1967, с. 79. Работа, представляющая собой характерный для данного автора обстоятельный анализ русских переводов английской публицистики, снабжена полной библиографией.

«Фригольдер» и открыто ее снимает, говоря об «охотниках за лисицами». Но ведь из их числа и милейший — таким он представлен — Роджер де Каверли! Он мил не только своими упрямыми странностями, но прежде всего добрым сердцем, в конце концов допускающим веротерпимость и позволяющим ему оставаться в друзьях с сэром Эндрью Торгменом. Их миролюбивый спор — наглядный аргумент в защиту веротерпимости.

Характерология аддисоновских эссе, памфлетов Свифта, поучений Дефо — это введение в литературу персонажей, новых не только для литературы, но и для самой английской действительности, их первоначальное открытие. В документальных жанрах накапливаются пока что разрозненные, но поражающие своей моментальной точностью портретные наброски для того большого полотна, группового портрета, на котором будет представлено английское общество в романе.

От пристрастия к факту, от многообразия частных, как бы впервые увиденных, — к обобщению и синтезу. Таков путь просветительской мысли. Ее обычный путь.

Единство противоположностей

Оно обнаруживает себя с необычайной ясностью в любой сфере просветительской мысли и действительности. Крайности обострены, но надежда на их примирение не утрачена. Раннепросветительское мировоззрение еще не знает непримиримых противоречий, точнее, не хочет признавать их таковыми.

Буквально во всем просветительская мысль поражает своей готовностью, допуская многообразие единичного, размещать его в пределах разумно устроенного целого; допускающая своеволие индивидуального, уравновесить его всеобщей упорядоченностью.

Рождающаяся эстетика вводит категорию вкуса, обосновывающую право на разность индивидуальных оценок: «О вкусах не спорят». И в то же время от Хатчесона до Юма верят, что это не повлечет за собой субъективистского произвола, ибо все многообразие вкусов может быть приведено к единству в пределах разумного суждения. Раз человек разумен, разве люди не могут договориться?

Убежденность в возможности договора еще сильнее той разобщенности, в которой убеждают наблюдение и опыт. Пусть современный человек и общество дали Гоббсу основание заключить: «человек человеку — волк», но с точки зрения просветительской разумности философ заблуждался, ибо не понял уравнивающей тенденции, обращающей, по выражению Мандевилля, « пороки частных лиц » в « благо для общества ».

Индивидуальность вкусов примиряется в разумности суждения; своекорыстный интерес — во всеобщем благе; дух национального патриотизма — в ощущении каждым себя Гражданином Мира... Век, открывающийся «мировой» войной, несмотря ни на что, завершается оптимистическими лозунгами Великой французской революции, в числе которых и такой: «Братство».

Центростремительные силы кажутся преобладающими над центробежными, и залогом тому — торговля: «Мировая торговля и мировой рынок открывают в XVI столетии мировую историю капитала»¹. И с тех пор не существует истории отдельно взятых государств иначе, как в качестве страниц и глав «*всемирной истории*».

К. Маркс относит начало процесса «всемирной истории» к XVI веку. Сами участники этого процесса начинают догадываться, что он идет, естественно, несколько позже, чем он начался. Едва ли не первыми были ранние английские экономисты XVII столетия, заложившие основы для будущей классической политэкономии. Один из них — Д. Норт — писал: «Что касается торговли, то весь мир представляет как бы одну нацию и один народ...»

Эта мысль вдохновляла. Ее мы находим выраженной с тем же пафосом и гораздо позже — в Энциклопедии Дидро и Д'Аламбера, где о торговле сказано: «В общем смысле под этим словом понимают взаимное общение... Неисповедимое провидение, создав природу и царящее в ней разнообразие, пожелало поставить этим людей во взаимную зависимость». Взаимная зависимость — это еще достаточно неопределенно: чем люди связаны — разумной договоренностью или непримиримой враждебностью своих интересов? Об этом немало спорили — в спорах прошел весь век.

«Братство», «взаимная зависимость», «мировая история»,

¹ К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 23, с. 157.

а за всем этим как единая основа — «мировой рынок», обменом и торговлей связавший народ. В XVIII веке эта экономическая проза не смущала, от нее не отворачивалась даже самая высокая поэзия. «Моря будут соединять земли, которые они разделяют...» — с пафосом обещал А. Поуп в поэме «Виндзорский лес», торжественно славящий заключение уже близкого мира. Этой строке предшествовало описание кораблей, товаров, людей прибывших со всех концов света.

А в «Зрителе» (№ 69) — гимн бирже, превращающей «нашу столицу в рынок всея Земли. Признаюсь, биржа кажется мне высшим советом, где представлены все маломальски стоящие нации».

В общем, та картина, о которой другой поэт спустя столетие скажет: «Все флаги в гости будут к нам...» Пушкинская строка, и это не случайно, — из поэмы о XVIII веке, о том, как было «прорублено окно» в Европу...

Мы помним эту метафору и связываем ее с обстоятельствами именно русской, национальной истории. А она имеет и гораздо более широкий смысл: «окна» рубились повсюду, по всей Европе, складывавшейся и осознававшей себя в качестве новой исторической общности.

Россия заново открывала для себя Европу, но и Европа отвечала заинтересованным взглядом. Знаменитая фраза Н. М. Карамзина — «Россия есть Европа», — фраза как о новой России, так и о новой Европе, вдруг раздвинувшей свои границы далеко на восток.

Английская публицистика тому свидетельство. В эссе, памфлетах нет-нет да и мелькают упоминания то еще по-старому — о полумифической Московии, то по-новому — о России, о Петре, о войне, которую он так дерзко затеял с северным героем — Карлом XII... А Петра в Англии запомнили со времен Великого посольства, с которым он здесь побывал в 1698 году.

И вот уже Свифт предвещает превращение России в цветущую империю, Дефо пишет книгу о Петре, Томсон славит его в своей поэме «Времена года»... Россия пожинает плоды Полтавской победы, об участии своего кузена в которой считает не лишним приврать английский Хлестаков — персонаж одного из эссе в журнале «Зритель» (№ 136). Историческое любопытство кажется Аддисону принявшим настолько опасные размеры, что он обращает к читателю укоризнен-

ный вопрос-напоминание: «...представляю читателю решить, не лучше ли познавать самого себя, чем узнавать, что происходит в Московии или в Польше...» (№ 10).

События Северной войны, которую ведут Россия со Швецией, не проходят мимо внимания англичан. Дефо еще в 1704 году оповещает своего патрона Роберта Харли о состоянии дел в Польше и пишет о ней отдельный трактат. Этих событий не заслоняет даже та европейская война, в которую уже вступила Англия, — и не только не заслоняет, но заставляет всматриваться в них особенно пристально: различая возможных противников и союзников, рассчитывая, какие силы могут быть оттянуты Северной войной с полей войны за Испанское наследство.

Да, первоначально всеобщность исторической связи являет себя не всеобщим торговым процветанием, а всеобщей враждой — не в образе Флоры, а в образе Беллоны, если воспользоваться мифологическими эмблемами в духе времени, преданного античной культуре.

«Золотой век» процветания торговли и промышленности обещан всем народам. Историческая реальность дала совершенно иное направление «всемирной истории»: Европа, идущая впереди по пути цивилизации, то есть Просвещения, претендует на мировое господство и добивается его, создавая ряд империй. И самую мощную среди них — Британскую. Это тоже XVIII век.

Век, мечтающий о веротерпимости: в Англии она даже закреплена законодательно — в 1689 году, то есть именно в том году, когда появляется первое из «Писем о веротерпимости» Джона Локка, написанное сразу же по возвращении из эмиграции. Влиятельнейший философ ее проповедует, закон о ней принят, но не для всех — люди далеко не всех вероисповеданий попадают под ее действие или могут наслаждаться ею лишь украдкой, выискивая лазейки в законе.

Как часто, сокрушается Аддисон, люди проявляют «безжалостность и жестокость, ревнуя об общем благе» (№ 125).

На словах все хотели одного — договориться. Ради этого вступали в спор. Спор оборачивался полемикой, в ходе которой выяснялось, что склонность к опровержению и обвинению преобладала над умением слушать и обсуждать, то есть над способностью к диалогу.

Это замечали наиболее проницательные современники. Философ Шефтсбери (внук создателя партии вигов и воспи-

танник Локка) с сожалением признается в своей философской рапсодии «Моралисты» (1709): «...мы, современные люди, в таком преизбытке создаем исследования, опыты, но столь скудны на диалоги — форма, которая некогда считалась самым наилучшим и благопристойным способом обсуждения наиболее серьезных материй». И далее — «...в этой философской Академии, образец которой я должен преподнести вам, существует известный путь вопросов и сомнений, далеко не отвечающих духу нашей эпохи. Теперь любят немедленно выбирать свою сторону»¹.

По крайней мере на словах все соглашались, что непримиримость полемики, дух раскола — худшее зло современной политики. Александр Поуп с его афористическим даром сказать то, что думают все, но сказать так хорошо, как никто этого не умел сделать, нашел формулу гордо провозглашенной им собственной умеренности и независимости: «...Для тори — виг, у вигов числюсь тори».

Это на словах. А на деле — всеобщее участие в событиях «памфлетной войны».

«Памфлетная война»

Не все произведения, собранные в нашем сборнике, можно считать памфлетами, но все имеют отношение к обстоятельствам «памфлетной войны». И что такое памфлет? Есть ли жесткие правила или узаконенные обычаи для этого жанра?

Он очень свободен по форме и может явиться в любом обличье.

Он может принять форму трактата, разъясняющего, опровергающего, подчас с необычайной резкостью, прямо раскрывая свою остросатирическую природу. «Гражданский дух вигов» Свифта — безусловно, памфлет. Но также памфлет и послуживший ему поводом «Кризис» Стила, написанный совсем не резко, напротив, — высокопарно, с пафосом, что уже по тону неприемлемо для Свифта.

Памфлет — и сатирическая аллегория Арбетнота о Джоне Булле — образ широко известный, хотя текст и впервые предстает на русском языке. И также памфлет, вовсе не включенный в сборник, «Ключ к «Локону» Поупа: включая

¹ Ш е ф т с б е р и. Эстетические опыты. М., 1975, с. 82—83.

его, нужно было бы рассчитывать на читателя, прекрасно помнящего поэму Поупа «Похищение локона», ключ к которой автор издевательски вкладывает в руки недоброжелателю, везде склонному усматривать порочащие автора политические высказывания и вновь — о войне за Испанское наследство.

Темы одни и те же у разных авторов, потому что по главным поводам и кипят страсти.

Памфлет — это не форма, а роль, которую должно сыграть произведение, рассчитанное как выпад, как удар. Впрочем, участвовать в полемике можно и самым неучастием в ней — своей подчеркнутой невовлеченностью, объективностью, веротерпимостью... Разве не веротерпимость — один из предметов спора? Можно высказаться за ту или иную позицию, но можно просто занять ее. Это аргумент наиболее наглядный и убедительный. Он избран Аддисоном в журнале «Зритель».

Выходящий в разгар «памфлетной войны», он отличается от предшествующего «Болтуна» (где главенствующую роль играл Стил, а Аддисон примкнул позже, только участвовал) и от более поздних журналов тех же авторов своим ровным тоном, своей созерцательностью, своей философской позицией неучастия. «Зритель» — метафора, распространенная в этот век ньютоновой «Оптики», в век разговоров о новом зрении, о пользе философского созерцания и наблюдения. Сатира в журнале допускается, и широко, но сатира не «на лица», а на нравы: «...бичевать порок, не задевая людей» (№ 34).

Его тон — тон доброжелательного собеседника, человека думающего, чувствующего, остро подмечающего и в полном смысле достойного, не в пример бранчливым, злоязычным памфлетистам с Граб-стрит...

Граб-стрит — символ низкопробной журналистики, место обитания поденных писак. Отделить себя от Граб-стрит спешат все политические писатели-публицисты той эпохи. Для вига Аддисона и для тори Свифта, джентльменов, людей общества, мысль о том, что хотя бы жанр, хотя бы род занятий связывает их с этими грязными писаками, мучительна.

Но что делать? — когда начинается борьба за общественное мнение, вслед корифеям, исполненным талантов и учености, вступает хор, состоящий на грошовом жалованье,

которое ему за что-то платят. Мысль о нем неприятна, но он полезен.

Различие культурное — и само по себе, и как знак социального различия — стена, переступить через которую еще труднее, чем через политические разногласия. Свифт и Аддисон с сожалением видят, как рушится их дружба под грузом взаимных политических претензий, но между публицистами одной партии — Свифтом и Дефо — никакой близости и быть не может. Свифт даже имени Дефо нарочито не хочет запомнить, ибо он, как равный, как джентльмен в своем кругу, обедает с теми министрами, у кого Дефо — посетитель с черного хода, журналист на жалованье, выполняющий указания. Конечно, Дефо ни по таланту, ни по значению не чета обычному наемному писаке, но ведь он родился (и умрет) где-то на Граб-стрит, сын торговца, побывал в тюрьме — социальные предрассудки, через которые еще только учились переступать.

Свифт может переиначивать, пародировать высокую поэзию, заставляя ее служить целям своей сатиры, но от этого в его сознании она не теряет своей высоты и достоинства. Для Свифта его памфлеты находятся в гораздо более близком родстве пасторалям Поупа, чем писаниям, хотя и памфлетным, исходящим с Граб-стрит, ибо он может позволить себе опускаться на нижние ступени литературной иерархии, не забывая ни о самой иерархии, ни о том, что ее вершина — поэзия. Античная цитата, реминисценция, риторический прием — все это не случайно, все это с напоминанием о своей культурной принадлежности.

Его союз с Поупом, с Геом, создавшими кружок под коллективным псевдонимом Мартина Скриблеруса, — это не только союз писателей, но союз жанров, союз культуры, объединившей силы для своей защиты и выступающей под маской одного из тех (Скриблерус — писака), кто ей угрожает.

И все-таки Свифту не избежать участия в изданиях сомнительных. Он вынужден давать задания тем самым презируемым писакам, ибо его дело — направлять пропаганду правительства тори, пришедшего к власти в 1710 году, как, вероятно, дело Аддисона организовывать оппозиционную пропаганду вигов.

Для просветительской философии, нравственно-этической по своему складу, мерило всему — человек, и только по

нему можно судить о том, совершился прогресс или он все еще остается неисполненным обещанием. Стал ли человек разумнее и лучше? На этот вопрос отвечали по-разному. Свифт — отрицательно, и переубедить его не могли никакие технические и научные чудеса нового века, над которыми впервые он посмеялся задолго до того, как была написана издевательская третья часть «Путешествий Гулливера».

И новая система с ее выборами не способствовала улучшению человеческой породы, а лишь плодила политическую ложь, создавала новый повод для обмана и подкупа. О том, что не только лендлорды влиянием на арендаторов и мелких соседей могут определять ход выборов, но с той же целью используются деньги — сила *новых людей*, писал Дефо. Он осуждал, надеясь, что может исправить пороки.

Смешное легковерие, с точки зрения Свифта. Сохранилось несколько упоминаний им Дефо — без имени и всегда неприязненно: «безграмотный писака», «комично-поучающий тон»... Что пользы поучать тех, кого уместно обличить и уничтожить! В своей сатире Свифт многолик: от пророческого гнева до холодно-расчетливого исчисления пороков и бед, от них проистекающих. Именно так — с презрением — написан памфлет о *Томасе Уортоне*.

Фигура, позволяющая говорить не только о личности, но и о вигском духе, Уортон — один из вождей, один из тех, кто возродил партию после уничтожения ее Карлом II. В прошлом — ее великие мученики за убеждения: Шефтсбери, Рассел, Сидни... «*Старые виги*» — к ним могли быть отнесены эти слова. Новые на них мало похожи, хотя они тоже гордятся своей стойкостью и верностью, но верностью чему?

Публицисты-виги прославляли Уортона за преданность партии, во главе которой он стоял так долго, при всех сменах ее курса. Он был верен не принципам, не делу, а имени, за которым несколько сподвижников, прозванных совсем уж современно — Хунта. Под этим именем вошли в историю пять лидеров партии вигов, и в их числе — Томас Уортон.

У каждого из них своя роль, свои способности, обращенные для достижения общего успеха. Один — Чарлз Монтегю, граф Халифакс, изощренный финансист, создатель Английского банка; другой — Джон Сомерс, юрист, законник, лорд-президент в момент, когда Хунта у власти; Томас Уортон — политик, организатор...

По тону странным контрастом памфлету Свифта звучат

панегирики своему вождю писателей-вигов, в том числе Аддисона, Стила, но мы узнаем Уортона — это тот же человек. Удивительна его энергия! Он может спать четыре часа в сутки, скакать в карете куда угодно и когда угодно, чтобы очутиться в нужный момент в нужном месте, произнести речь, пожать столько рук, сколько к нему протянется, назвать каждого избирателя по имени, выпить с ним кружку зля и не забыть поинтересоваться, родила ли его жена и «вырос ли Джеймс из коротких штанишек».

Портрет, от которого исходит дух, известный в Европе как «дух американизма», хотя до создания Соединенных Штатов еще шесть десятилетий.

Таков Томас Уортон, восхищающий одних, а у других вызывающий чувство отвращения не только к себе, но и ко всей той политической системе, для которой он создан или которая создана для него. Человек, ни разу в жизни (по собственным словам) не сдержавший обещания, но, предупреждает Свифт, завершая памфлет, «прошу не смешивать простое обещание со сделкой, ибо в последнем случае он, конечно, будет соблюдать условия, если они сулят ему выгоды...».

«Таков характер его светлости...»

Таков характер вига в изображении Свифта, портретиста далеко не беспристрастного. Характер, чуждый чувству чести, лишенный чувства верности, кроме тех случаев, когда сама верность оборачивается худшим пороком — приверженностью корыстолюбивым интересам своей секты.

Виги обвиняли Свифта в том, что он изменил им. Свифт отвечал обвинением в предубежденности, пристрастности, за которую они, новые виги, выдают верность несуществующим принципам. О себе же он всегда говорил как о «старом виге»: выходило, что не он изменил партии, а партия изменила своему первоначальному курсу.

Объективность требует признать, что пока будущему автору «Гулливера» не приходят на ум злые сравнения враждующих сторон с остроконечниками и тупоконечниками, высококаблучниками и низкокаблучниками. Сравнения, убеждающие, что все существующие пристрастия яйца выеденного не стоят. Пока что он принимает происходящее всерьез.

В этом все более беспощадном обмене ударами были ли правые и виноватые? Победители и побежденные?

Пока Анна на троне, тори не знают поражений. Они приходят к власти, удерживают ее в самые критические для себя моменты (если вмешательство королевы необходимо, она вмешивается), они заключают мир, проводят ужесточающие законы против диссентеров... И ни одна победа не упрочивает их положения. Они обречены.

«Река, текущая к морю, может быть так взволнована ветром, что кажется устремленной в противоположную сторону. Так и в правление Анны, глядя на поверхность течения, мы думаем, что оно подчинено тори. Однако в исторической перспективе возгласы «Церковь в опасности!», протесты против временного единоверия, Акт о расколе, процесс Сэчверелла и другие события кажутся лишь порывами ветра, дующего против течения. Когда после смерти Анны эти порывы улеглись, то стало совершенно ясно, что и все время течение было подчинено духу вигской веротерпимости»¹.

Обо всех исторических фактах, вовлеченных метафорой Х. Н. Фэрчайлда, подробнее речь идет в комментарии. Сейчас же скажем, что по течению исторических событий действительно плыли виги. Под знаменами тори собираются все те, кто хотел бы обратить его вспять. Единство через общность отрицания — всегда единство пестрое и непрочное: временное содружество попутчиков, единодушно отказавшихся следовать в указанном направлении, но очень скоро выяснивших, что им — в разные стороны. Не может Свифт долго рассчитывать на поддержку и искать этой поддержки у полуграмотного, фанатичного сквайра из Октябрьского клуба только потому, что приход к власти вигов, новых денежных людей, для него равнозначен признанию Грабстрит храмом поэзии.

Страсти накаляются по мере того, как становится все более очевидным вывод — конец эпохи близок. Все более слабеющая Анна может испустить дух в любую минуту, и тогда трон — в руках у Георга, курфюрста Ганноверского, с которым тори заранее и безнадежно испортили отношения.

Предпринимать ли решительные действия? Совершать ли переворот в пользу Претендента Стюарта? Или искать ком-

¹ H. N. Fairchild. Religious frends in English poetry, v. 1. 1700—1740: Protestantism and the cult of sentiment. N. Y., 1949, p. 96.

промисса с новой династией и с вигами?

Мнения множатся, сталкиваются, опрокидывая и без того неустойчивое равновесие внутри самой партии тори. Ее крах довершен окончательным разрывом между Болингброком и Оксфордом, чью отставку королева успела подписать буквально на смертном одре.

Колеблются и публицисты, переходя от отчаянных нападок к тону нарочито сдержанному, претендующему на объективное спокойствие. Свифт дописывает историю последних лет, участником которой он был, и делает это в более примирительном тоне, чем в «Гражданском духе вигов». Его история, однако, запоздает и увидит свет гораздо позже, не оказывая влияния ни на судьбу ее автора, ни на судьбу тех политиков, чьего падения она не смогла бы предотвратить. Апологией занят и Дефо — в «Призыве к Чести и Справедливости», где пытается снять обвинения с себя и с Оксфорда...

* * *

С приходом Георга I Оксфорд — в Тауэре, Болингброк — в эмиграции, где он окончательно скомпрометировал себя, приняв тот же пост государственного секретаря, только теперь при дворе Претендента. Спустя десять лет ему разрешат вернуться, не занимая места в парламенте. Он попытается играть роль лидера внепарламентской оппозиции, но скоро поймет, что его время прошло. Политик уступит место историку, который, конечно, не может забыть о политике, не может не попытаться хотя бы оправдать его действия или объяснить их стремлением к высокой цели. Она определена уже в названии трактата: «Идея о короле-патриоте», для которого «нет более святого долга, чем защита и сохранение свободы... конституций»¹.

Независимо от того, хороша ли, плоха ли «Идея» Болингброка, она неисполнима! Что мечтать об аристократической монархии, о сохранении традиций, когда власть — у новых людей, а во главе правительства — Роберт Уолпол, с которым когда-то, на заре века, Болингброк одновременно появился в парламенте. Два подающих надежды два-

¹ Болингброк. Письма об изучении и пользе истории. М., 1978, с. 216.

дцатилетних честолюбца! На вершинах успеха побывал каждый, но не каждый сумел там удержаться. Теперь одному — вся полнота власти, синоним которой — богатство (дурная слава не пугает, что бы там ни болтали, в своих комедиях Гей и Филдинг, очень прозрачно намекая на склонность первого министра к измождению и казнокрадству); другому — воспоминания и утопии.

Политическую часть утопии Болингброк пишет сам, философскую предоставляет Поупу. В беседах с опальным политиком и умнейшим собеседником рождался план «Опыта о человеке».

Странное время, если вдуматься, избрал Поуп для книги такого рода. И странно, что именно он ее автор. Ничего подобного ранее он не писал. Предшествующее десятилетие принесло ему шумную известность сатирика, особенно после того, как он вновь встретился с приехавшим из Ирландии Свифтом. До этого они не виделись более десяти лет. Результатом встречи было издание «Путешествий Гулливера», привезенных с собой одним, и написание злейшей сатиры на современных литераторов — «Тупициады», другим. И вот, как будто ужаснувшись того, насколько верным изображением современного человека оказались йэжу его друга и его собственные тупицы, Поуп решает сказать о человеке вообще.

«Опытом о человеке» и восхищались, и нападали на него. Один из поводов — обвинение в компилятивности: мол, ни одной своей мысли, все заемное — от Лукреция до Локка и Шефтсбери, усвоенное в пересказе Болингброка. Но, если вдуматься, такое ли уж это страшное обвинение поэту, чей талант — в умении забываемо сформулировать, вдохновенно пересказать? Теорий Поуп не создавал, но, облекая известное звучным, чеканным стихом, он придавал силу мысли, подкреплял ее поэтическими аргументами.

И еще в одном сказалась оригинальность Поупа и ценность его поэмы — в полноте синтеза. Идеи враждебные, суждения, отменяющие друг друга и представляющие человека то венцом творенья, то горстью праха, то равным богу, то пресмыкающимся, подобно червю (отсюда и державинская строка!), — все это он пытается примирить сложностью человеческой природы. Сложность, в которой — его величие.

«Опыт о человеке» явился своеобразной антологией опти-

мистической философии Просвещения, а отчасти уже и памятником ей, по крайней мере в самой Англии. Просветительский оптимизм иногда представляется прекраснодушным, особенно если он вспоминается через вольтеровскую пародию («Кандид»), где ученик Лейбница и Шефтсбери — Панглос, невзирая на то, где он и что с ним, упорно твердит: «Все прекрасно в прекраснейшем из миров».

Пародия, как всегда, преувеличивает: в данном случае — готовность принять мир таким, каков он есть. Просветители, даже самые оптимистичные из них, не были слепы. Вопрос расхождения между оптимистом и пессимистом, по сути дела, был не в том, соответствует ли действительность предписанному ей нравственному идеалу, — все сходилось, что она от него далека, но есть ли возможность направить ее развитие в сторону идеала? Возможен ли прогресс и в какой мере он уже совершается?

При обсуждении этот вопрос принимал форму более нравственную и метафизическую, отвечающую складу просветительской мысли. Все соглашались с тем, что зло в мире обильно и многообразно, но от бога оно или от человека? Быть может, то, что кажется злом отдельному человеку, есть лишь необходимое условие для всеобщего блага? Если признать, что зло — творение человеческих рук (точнее — его страстей и заблуждений) или что оно лишь кажется таковым разуму, не умеющему возвыситься до мирового порядка, тогда можно признать, что общий закон прекрасен и справедлив, тогда можно надеяться.

Оптимистическая мысль Просвещения, последний раз так ярко вспыхнувшая в Англии, еще сохраняла всю прелесть новизны для остальной Европы. Ею восхищен Вольтер (ему еще не пришлось писать пародии!), впитывающий ее в беседах с англичанами, среди которых умнейшие — Болингброк и Поуп.

Ее подхватывает Россия, где «Опыт о человеке» переводит Н. Поповский, любимый ученик М. В. Ломоносова. Опубликованный в 1757 году, этот перевод становится первой книгой, изданной в только что открытой типографии при Московском университете, дает повод для первого столкновения светского писателя с церковной цензурой, которой он не хочет уступить. В переводе Н. Поповского «Опыт» переиздавался четырежды и трижды переводился прозой!

Эта книга связывает бурное начало эпохи Просвещения в

«Столетье безумно и мудро...»

Англии с дальнейшим ходом просветительской мысли, рождавшейся в трудных спорах, дарившей надеждой и разочарованием. Она заполнила собою все столетие.

Столетие споров и столетие убежденности в том, что договориться необходимо, что договориться возможно — а как же иначе, если человек действительно разумен! Столетие, на протяжении которого пробовали следовать путем Разума, веротерпимости и одновременно с редкой пристрастностью оспаривали друг у друга право вывести на этот путь, будто бы единственный и известный кому-то одному.

Знаменитая поэтическая формула, которой Н. А. Радищев подводил итог «осьмнадцатому столетию», не только эмоционально, но исторически верна: *«столетье безумно и мудро...»* С равным правом, с такой же исчерпывающей полнотой она не может быть переадресована какому-либо другому веку.

И. Шайтанов